

Развод / рассказ

Category: Некаýалар, Кітарсу
написано кітарсу | 22 января, 2025
Развод / рассказ РАЗВОД



“Ты о любви мне расскажи, я лучше сказок не слышал...”

Джами

Сказав “отпускаю жену”, Теша кинул ложку и заплакал. И ушел во двор. Его жена ломала лепешки. Когда он затворил ворота, отправившись на похороны скотника Салама, она, скрывая восторг ладонями, побежала в свою комнату. Старуха Шогуль оглядела родню и беззвучной кошкой поднялась к себе в мансарду. Родня подумала: “Пришло”, но все-таки напугалась. Никогда до этого он ничего не кидал, не плакал... Поэтому мужчины дивились, а женщины думали гадости. И в доме покойного все, кроме покойного, дивились, когда Теша гневно вырвал и швырнул курам

во двор магическую книгу “То’елонома”, которую у головы усопшего читал его полусонный племянник. Удушил языческую лучину, возженную у окна для указания дороги мятущейся душе скотника, и, отстранив племянника, сел и, согбенный, читал положенные молитвы. Слезы текли по его рыжей бороде, борода его сотрясалась будто от встречного ветра, веснушчатые пальцы дрожали, но читал твердо, семьдесят раз. Через час здесь знали о случившемся. Люди думали: “Пришло...”

Толпились у входа, глядели на него с тревожной скорбью, дотеле не истраченной на покойного, ибо Салам не остался должен одному себе, а Тешу жалели многие.

Затем двумя параллельными улицами двинулись в гору, на кладбище, где он опять читал молитвы. Люди отвечали: “Омин”. Стояли, подолгу изучая небо как бы в размышлении о бренности скотников и царей, но точно зная, из какого глаза и каким пальцем он вынимает сейчас новую слезу. Когда могилу уже поливали водой, он отверг деньги и спустился в кишлак. В кишлаке многие, кто не явился на похороны, слетались к окнам, чтобы оглядеть его, сказать: “Пришло”, потом впериться в свои колени и цокать языками.

Мулла шел по улице. Встречных разносило к плетням. Оттуда кланялись ему. Но никто не заговаривал с ним, и даже Барно-чахоточница, что изводит его требованием заочного развода с мужем, давно пропавшим у женщины в России, даже она, начав было от плетня: “Тешаджон, этот сволочь ...”, смолкла, провожая его взглядом. А он не плакал уже. Под глазами только держались две-три слезы, забытые с кладбища. Плачущий мулла – это ведь глупее неимущего ростовщика. Смешно ведь лить горе в одни минуты, скажем, с новорожденным Сафаром, что с вечера воеет на весь кишлак, не умея языком вытянуть молоко из глупой мятущейся матери. Так думал Теша – то есть так думаю я, сочинитель этой подлинной истории, – настоящих его мыслей, как и мыслей всякого мужчины, не знает, конечно, никто. Никто, кроме их жен и Бога. А вот о чем думают женщины, неведомо и Богу.

Так думал Теша – то есть я, разжевывая финик в доме глупой

матери, потому что горе голодного младенца – главное в мире. Он разжевал финик и мазал им десны новорожденного, одновременно массируя их большим своим маленьким пальцем. Тот задвигал языком, губами, вспотел, засуетился. Теша, не медля, сунул его матери, которая, открыв рот, смотрела на него теми же глазами, что и все в тот день.

Так и пялилась, пока младенец насыщался от ее соска. Уже у порога, краснея, поднесла мулле “того этого”. Он ответил “нет”, вздохнув, сказал “да” и выпил водки, оборонившись от женщины рукавом. И был спокоен, когда читал напутственную молитву в доме каменщика Махмуда, собиравшегося в Москву. Был спокоен и весел, читая молитву от воров в доме богатой вдовы Саиды. Был весел и безобразно приплясывал на вечеринке у Шухрата-плотника, который на днях вернулся из Москвы. Плясал, хватив водки так, что его рыжая борода ходила ходуном и отделялась в иные мгновения от его маленького тела. Гости плотника шептали друг другу: “Пришло...” Никто в селе не догадался бы, что случилось, если бы не его мать. Едва сын ушел на похороны, Шогуль выскочила на улицу. Она носилась по селу и кричала, что “благоволение Милосердного!”, что “пришло!”, что “видела: собирает вещи”, что “страшно, страшно”...

“Страшно”, – соглашались люди.

Поминали небо, поручали ему будущее Теши, без сомнения, ужасное. Иные просили старуху поговорить с сыном: пусть он еще раз обдумает и...

– ...и остается в своем аду? И я в своем? Живая по ошибке, исстрадавшаяся мать? Так, дорогой неумный Рахимджан? – вопила старуха, говорила “ууу” и бежала дальше.

Поэтому люди разглядывали его разное.

“Отпускает? Решился? – вопрошал себя каждый. – Но что же будет с ним?” И каждый лукавил, ибо твердо знал – ничего хорошего. За семь лет он и суток не прожил без нее, кроме тех дней,

когда его – часто – хотели расстрелять и однажды, у алюминзавода, почти расстреляли. Не прожил без этой дылды и суток – и не хотел жить, то есть не мог. А был бы способен – хоть на каплю, на один волос, страдающие ангелы Господни немедленно унесли б его прочь от этой жизни, этой жены.

“Спаси его Аллах”, – предупредил людей волхвующий старик Хашим, едва только глянул на него и жену его, когда три года назад они, в сопровождении душанбинского имама, сошли с автобуса и предстали взору нарядно обряженных хавтцев. Он понял это оттого, что прожил девяносто лет, был мудр, гадал на козьих внутренностях, но люди и без его требухи сразу обо всем догадались. Нужна ли магическая печень, если духовный человек, суетясь, как недуховный человек, помогает жене выйти из автобуса, принимает поклажу, один тащит ее на пяточок перед автостанцией и без конца оглядывает супругу? К чему волшебные кишки и селезенка, если жена его морщится и отворачивает голову? И отворачивала все время, пока сельчанам представляли нового муллу. Вначале сопровождающий имам ругал его, потом хвалил, сказав, что он “добр, но глуп, но добр”.

Слышал ли это Теша – неизвестно, ибо с тревогой оглядывал жену. А если слышал, то не обиделся и никогда не обижался, потому что был глуп.

“Как птица”, – рыдая, соглашалась с этим Шогуль, когда потом рассказывала хавтцам о прежней жизни. Приходила к почтамту с пакетом овечьей шерсти, сто лет насаживала – чтобы собраться с мыслями – на стержень грузило, раскручивала веретено и рассказывала...

То, что он глуп и добр, сразу поняла и объяснила парторгу, своему рыжему голубоглазому (ягнобцы все рыжие и голубоглазые) любовнику, бывшая его супруга – Суфья. И другому робкому человеку из райкома она так объяснила – успокоила, потом третьему, а пройдя всех местных коммунистов, стала успокаивать боязливых комсомольцев, пока старуха не вызвала сына телеграммой из Ташкента, где он учился

в медресе. Он приехал, сел за стол, и они страшно, с рукоприкладством поругались между собой, то есть – жена и свекровь. А когда он вставил мысль, Суфья спустила его чемодан в колодец и ушла жить к тете. Сына захватила с собой. И вот тут старуха совершила то, в чем каялась затем всю жизнь. Пока Теша думал за столом, она сбегала к губернатору, переговорила с ним о его дочери.

“Да, – заревел губернатор. Привстал и тем же тигриным рыком стал звать дочь: – Эй, эй”.

А Рано – пятнадцатилетняя рослая его дочка, крупная, как после шестых родов, с криком забилась в овин. Лягалась в братьев, которые, бледные от страха, потому что полсела сотрясалось от рева “эй, эй”, тянули ее из соломы. С жалостью тянули, но, если бы отец поручил тянуть из логова волчицу, пошли бы. Никто не перечит ему. Ни в семье, ни в сельском руководстве. Двадцать лет он не директор местного совхоза (его сняли и посадили за то, что он расплющил точильным камнем ладони счетоводу-растратчику), но до его смерти каждое новое начальство бегало к нему в дом представляться. В старости он любил ночные бдения за Кораном. По этой ли, другой причине он согласился на муллу. Доставленная к отцу с соломой на голове Рано только кивала покорно. Затем, правда, братья пытались помочь ей. Как и сестра (и как многие в селе), они с детства опасались молчаливого рыжего уродца. Советовали отцу условия калыма, посильные разве ягнобскому прокурору. Но старуха Шогуль заняла где можно и отдала сверх того. И еще бы трижды отдала, ибо, побывав на плове у губернатора, сын до рассвета нашептывал “Родников голоса”. Мать тогда думала – он счастлив. В Хавте же говорила: “Торжествующее зло играло его губами”.

Назойливое, будто муха, зло, что без конца садится на сына, наслав ему первую жену, затем ее, а перед этим уродив коротышкой с крупной неумной головой. Борода увеличивала ее вдвое. Огромная и рыжая, как пожар, борода, которая злила всех

неягнобских собак и которую Суфья раз отделала овечьими ножницами.

Теша думал, что она пугает и его новую жену. Старуха слышала, как вскоре после свадьбы он вполголоса спросил супругу о чем-то.

“Нельзя вам, – возразила та. – Люди подумают, что это я заставила состричь ее. Не будет вам и мне уважения”.

Потом она обильно не говорила; тратила в день пять-шесть слов: “Спасибо... буду – не буду, ладно – не ладно”... За семь лет наговорила не больше двадцати трех тысяч. Для нормальной женщины – на одну ссору, сосчитала старуха. Но ни разу не ссорились они. Теша (доучиваться в Ташкент из-за нее он не поехал) вечером вытягивал кончик языка и читал ибн-Ниеза. Жена выбирала траву из комьев овечьей шерсти или, выбирая, думала о чем-то со злыми слезами. Дети у них не выходили. Знахари лечили ее. Старуха клялась хавтцам, что сноха сделалась бесплодной сатанинским усилием нелюбви, ибо не помогла даже прикладываемая к ее животу свежая плацента.

Рано не любила Тешу, и он знал об этом, но и пальцем не трогал, ни разу не упрекнул, потому что добр. Но, говорила старуха, известно: ни одна женщина на свете не имеет достойной причины не любить своего мужа. Любить его более или менее – вот право женщины, и сама Шогуль любила побивавшего ее мужа-милиционера не так, как следует.

А эта не любила. Но тогда таи это, как скрывают юного любовника. Не таила. Лила злые слезы, годами молчала, перебирала шерсть.

Теша же покойно читал книгу. Иногда отстранял ее, шевелил губами, словно готовясь сказать ей что-то. Но вздыхал, опять обращаясь к странице. Будто чего-то ждал. И дождался – заболел однажды. То есть отравился – в смысле его отравила жена. Он с трудом дышал, его било ледяной судорогой, а когда начал предсмертно хрипеть, старуха, наконец, поняла, что это пыльца

собачьего корня, которая собрана в третий день июня руками, натертыми пасленом и аконитом. Она молниеносно изготовила сложный защитный отвар, состоящий из тех же самых веществ, но с прибавкой болеголова, и не сразу, но излечила его. Знание ядов и их сочетаний у каждой ягнобки в крови. Любая из местных горянок так же ловко, как гребнем, обращается с пятью тысячами видов корней, побегов, плодов и коры. Теми, что отправляют мужей к гуриям немедленно, через год, под обличьем простуды, катара горла, сумасшествия или, что самое хитрое, под своим собственным. Подобный супруг, допустим, лежит на одре – умирает, а вокруг паническим роем мечутся его сестры, тетки, снохи. Они перебирают в уме сотни изощреннейших ядов и соответственно противоядий, пичкают его искусными снадобьями, и счастье, если кто-нибудь вовремя догадается, что это обычные симптомы смехотворной белозерки. Ему – счастье, а супруге всякая расплата, если уличена, а Рано была уличена, ибо, понимая это, скрылась у матери. Ничто ей не было защитой, но когда ночью, с кольями и соляжкой, родственники Шогуль вбегали в ее дом, то в дверях налетели на Тешу.

Он поздоровался с родней. “Салом, ако”, – ответили ошарашенно. После этого он провел супругу сквозь полночную толпу, и они ушли домой. Опять чистили шерсть и покойно читали ибн-Ниеза. Будто бы покойно.

Его глаза теперь рассеивались, глядели куда угодно, но не на жену. Она клялась, что не травила его. В тот день, правда, видели Суфью, что забежала взять подарки своих любовников, пока все были на рынке. Крутилась для чего-то у зимней кухни. Но, во-первых, они могли сговориться, во-вторых, история с сыном Теши показала, что они обе – фурии, хотя и рассорились до драки, ведь злодейство не знает дружбы, говорила старуха, оглядывая на свет недочищенный кусок шерсти.

Из приюта, куда отдала его мать, мальчика привез конюх Рустам, старший брат Теши. Они зашли во двор, навстречу им с воплем бежал отец. Он схватил сына и скакал, будто недуховное лицо. Брат, отвернувшись, плакал. И старуха.

И родня, спешно дожевывая что-то.

А эта не плакала. Увела и за коровником оттирала в ванне мылом, ибо от него, как от всех недомашних детей, пахло мочой и просяной похлебкой. Брезгливая! – возмущалась старуха. Зачем нюхать не своего, когда своего отказывается рожать? Оттого и кричала “нет, нет!”, когда мальчик за праздничным ужином спросил, может ли говорить ей “мама”. Старуха всплеснула руками. Оскорбленная родня даже мясо не доела, унесла позже в карманах. Ночью добрый мальчик свернулся и спал подле мачехи, которая до утра редела и редела со злости, и так сворачивался неделю, пока не заявила разъяренная Суфья. Вначале они пособачились у калитки. Затем снова у калитки, после того как Суфья за шкурку выволокла напуганного ребенка из дома, и на этот раз пререкались одну секунду, потому что схватились как волчицы и дрались как волчицы: бешено разметая пыль, сцепившись намертво зубами и всем, чем можно, почти молча, с редким горловым подтягиваньем. Суфья одолела, конечно. Заехала ногой в растянутое на земле крупное ее тело и, тяжело дыша, отряхивала с рук ее волосы – это искусство она отточила еще на Теше. И вернула сына в приют. Вернулась же, неугомонная, через месяц, в гражданскую войну, на добела раскаленном танке командира Абу-самбиста, которого, в смысле самбиста, была владетельной царицей. Он хотя и мчался за армией мулло Абдурауфа, поджегшей накануне его семью как хворост и стремившейся сейчас к пограничной переправе, но, уступив любимой, залетел в село. Осадил танк у ворот. А когда вылез, увидел: семья ягнобского муллы уже поджидает его во дворе с вещами и негритянскими от копоты лицами – вокруг полыхали все соседние дома, запаленные нетерпеливцами его передового отряда...

В этом месте старуха отставляла веретено и с подозрением спрашивала хавтцев: “Но, подумаете, хорошо старая, а при чем здесь она? Да? – и потрясала синими кулаками: – При том... при том”.

При том, говорила, что Абу мог, но не расстрелял ее сына.

Дважды мог. В первый раз – когда, утирая мокрую шею, взял Рано за плечо, собираясь спросить воды, а сын подумал плохое и оттолкнул его, заклекотав нечто. Согнувшись пополам, двухметровый великан рухнул ему под ноги. Старуха ахнула, ее родственники завывали, как на поминках, Суфья хохотала от танка до слез, но охрана эту его шутку знала наизусть и, слава Аллаху, даже не двинулась с места.

Во второй – после того как взбешенный вернулся из Львиной балки, где не обнаружил мулло Абдурауфа, который вырезал его тамошний авангард и который, пока его обнаруживали, обходным проселком появился в Ягнобе и агитировал людей вступать в его армию, чтобы вырезать фронтовцев, узбеков и самбистов, которые... – здесь старуха запутывалась, слушатели это подтверждали. Она объясняла сначала. ... Когда Абу встал на ноги, примчалась разведка. Доложила, что в балке добивают его бойцов. Абу побежал со двора. Кратко поговорил с Суфьей, и танк ринулся к границе. Соскочившая с него женщина плюнула ему вслед пять и еще два раза – по горскому обычаю презрения – и, взбешенная, ушла на запад. А с севера – пока родня еще завывала, Теша гладил окаменелую жену, пока старуха ползла к двери, и оберегшие их ангелы Его отлетели не выше печных труб, – на грузовике, набитом своей армией, появился расстроенный мулло Абдурауф. В руках его был кувшин для омовений – близилась вечерняя молитва, – которым он затем стукнул Тешу по лбу. Стукнул по делу, ибо, когда он, а затем Вайс, друг Теши по медресе, набрав добровольцев в селе, спрашивали ее сына: с сатаной ли, с коммунистами остается, тот столь глупо кряхтел, что даже старуха гневно бросила: “С ней, домулло, с этой...” Тогда его и стукнули, и даже пистолет навели, но друг махал рукой: “Пусть. Пусть с Лелин-Исталиным остается. С бабой пусть остается”, а с грузовика, удаляясь, долго кричал: “Ава... ава”, то есть “баба, баба”.

А за окраиной, в миндальной роще, их встретил самбист. Он погнал армию обратно через село, и в этот момент по тем и другим ударили акмаловцы. Их привела Суфья. Она отыскала этого

бандита Акмала, своего бывшего, в смысле настоящего, но бывшего... в смысле так: десять лет назад он, секретарь регарского комсомола, был ее возлюбленным, она опять сделала его возлюбленным, и он навел в село своих головорезов-узбеков... – бормотала старуха, щурясь на оборванные концы нити, скрепляя их и вновь разгоняя веретено о бедро.

У алюминзавода они вначале расстреляли изловленных бойцов самбиста и его самого, затем армию Абдурауфа и его самого. Затем у трансформаторной будки, прикладом в спину, спустили на колени Тешу. Его с помощью Суфьи, пока она, отворотясь, глядела в окно, отрыли из груди материнских старых платьев...

“Вы думаете, – неожиданно спрашивала здесь старуха, – я не знаю, что она не травила его? – Она отбрасывала веретено и плакала. – Не она давала яд, но она даст ... – говорила. – Потому что не любит его, потому что душа ледяная. А Суфья... что Суфья? Повесили ее сразу после налета – родственники самбиста. В миндальной роще. Пока умирала, веревку в пену изгрызла... Нет, нет, всякая нелюбовь приводит к яду. Я как-то заглянула в ибн-Ниеза и... слушайте”.

Она вынимала из шерсти якобы случайную книгу и, утирая лицо, читала: подобно тому, как тьма есть отсутствие света, нелюбовь есть зло, прямое зло, во тьме которого сыплется яд, приходят войны... и прочее и прочее...

“...из старых платьев”, – вежливо напоминали сельчане, и старуха, подбирая веретено, рассказывала, что ее сына не расстреляли, хотя он простоял на коленях до рассвета. Ночью акмаловцев погнала родня самбиста, но Теша этого не заметил. Он стоял на коленях, когда на рассвете мать прибежала и забрала его домой.

А эта всю следующую ночь говорила сыну: прости, прости.

Или вроде того. “Не вслушивалась я, – отмахивалась шерстью старуха. – Да и что там за дверью разберешь?”

И зажили старой жизнью: книга, ее слезы. И своих детей нет, и того потеряли. Юсуфа из приюта забрала мать повешенной, а “водочному мулле” отдавать отказалась.

Да, водочному, сказала, потому что он стал выпивать уже в Ягнобе (слушатели цокали языками). Несильно вначале.

“И потом по чуть-чуть. Но всегда из-за нее, и, конечно... – говорила старуха, оглядывая сельчан и наводя уверенный палец на старика Рахимджана, – плетней задом не пересчитывал”.

Первая это заметила Рузия-чайханщица.

“Купил, нечто пошептал, выпил и ушел на свадьбу”, – рассказывала она старухе, когда забежала за тмином, ибо проходила мимо. Скоро и другие начали одалживать у нее перец-соль, и старуха, пришибленная позором, набиралась и никак не набирала сил для разговора с сыном. Да и не могла понять: вот сейчас пьян он, трезв ли? Она этого не разбирала, как ни приглядывалась, чтобы с воплями и обмороком уличить его. Она же его не замечала любого. Он, как обычно, молчал вечерами, листал ибн-Ниеза. И перестал появляться где-либо, кроме как у чайханщицы Рузии. И жену перестал оглядывать, как оглядывал раньше между страницами – будто с ожиданием. Но и в селе перестали ожидать. Ягнобские старики гневно возгласили однажды, что жили долго, с Богом – и если кто скажет “неправедно”, тому легко вырвут кишки – и видели разных мулл: хороших, дураков, женоугодников, выпивающих, тех, которые и не муллы вовсе, но в одном человеке (карлике, обросшем до пуза, добавляли женщины) этого всего существовать не должно, и они этого не примут.

Говорили старцы прочие обидные слова, но были сердцем незлобливы. Потому смеялись до мизинцев ног, когда Шоголь, которую позвали, чтобы объявить решение стариков, рассказывала о невестке.

“Она побивает его? – в ответ вопрошали ее. – Пользует бранные слова, ставит уксус вместо пищи, имеет любовника?”

“Нет, нет, нет, нет, – отвечала раздраженная старуха. – Но не любит его, и...”

“Что такое любовь? – вопрошали ее далее. – Что такое нелюбовь? И какое это все имеет значение? Ибо, – поясняли грубо, – они изгоняются вон из села. Вон!..”

И с минуты, когда после драки со старцами, простоволосая и окровавленная, она ворвалась домой и предлагала невестке: “Вон! Вон!”, началась ее борьба за развод. При солнце и луне, воплями и тайным шепотом, сыну в ухо и народу во всеуслышанье, с помощью Рустама и родни до восьмой близости, с подманиванием святых, чудотворцев, покойников, пещерных духов и угрюмых скальных демонов она вела эту войну, с позором проигранную.

(“Как казалось, да? Как казалось!” – в тот день с ликованием напоминала она людям, носясь по селу.)

Выкликаемые ею демоны, сшибаясь с ледяными духами невестки, шипя, отступали, святые заслуженно закрывали уши на просьбы старой грешницы – в детстве, увы, разоряла гнезда и воровала соседский миндаль, признавалась старуха, – добрый Рустам был конюх с умом конюха, обильной родне мешал думать всечасно набитый рот, а сын с невесткой даже головы не подымали, когда Шогуль требовала развода. В эти минуты она склонялась к шерсти, распяливала на пальцах клочок и возилась с единственным репейным стеблем, а он наблюдал столешницу сквозь книгу.

“Семь лет борюсь, до этой самой минуты, вот до этой... – утверждала старуха, набрасывая под грузило отрезок готовой нити, – самой нити. А они головы не подняли!”

В ответ на ее крики все занимались делами. (“А, мать развлекается”, – горько сетовала старуха.) Лишь однажды, когда она топотала близ снующих у земли рук невестки и вопила: “Вон! Вон!”, та отозвалась чуть слышно: “Жена я”. Но в основном молчали.

И в Ягнобе, и в Хавте, и между этим, когда, с позором

изгнанные, всем родом переезжали вниз, в долину. Сидели на арбе друг против друга, Шогуль рядом с возничим, и до самого Гиссара, пока униженная мать завывала одним голосом с окружающей метелью, он пялился в обсыпанные снегом колени, будто метель нарисовала там буквы, а она, склоненная, мяла рукавицы, словно отыскивая в них травинку. Даже узбек, возничий, который вез их через Америку на Луну (судя по испрошенной плате), жалел старуху и, нахлестывая оледеневших быков, всю дорогу шептал: “Бог знает, Бог знает”.

По приезде же перерезал ей горло, в смысле – забрал последние сто сомонов. Будто бы за павшего в лютую метель на перевале быка, хотя все знают, что у скуповатых узбеков быки издыхают не от метели, а из-за скуповатых узбеков, которые не должно кормят скот. Правда же в том, что никто не пожалел ее от сердца: ни возничий, ни сын, ни Бог, ни родные ее сестры, из которых гиссарская отказала сразу от крыльца, другая погнала, пустив вначале до кухни, и в гостевую провела их старшая – колхозабадская, налила чаю и велела убираться вон и не позорить их женоугодным пьяницей.

А сюда, говорила старуха, они попали благодаря известному уламо (1) старику Абдусамаду. В молодости он жил в Ягнобе, был другом ее покойного мужа. При жизни супруг часто приводил Абдусамада к себе на работу за устройство несоветских молитвенных собраний. В тюрьме они беседовали о Лелин-Дарвине, сатанинском глашатае Никсоне и сильно, говорила старуха, тогда подружились. Когда она, прибыв попуткой в столицу (оставив свой табор в заброшенном коровнике на окраине Колхозабада), в сотый раз приложилась к его руке, он сказал, что слышал о Теше. Сказал, что ни на волос не удивлен судьбой, давшей сыну мерзавца и палача облик женоугодного пьяницы. Потом отряхнул со своей шеи старуху, добравшись туда с заклиняющими лобзаниями, и сурово обещал некое место похуже, а провожая до двери, любопытствовал: “Что супруга его: красит глаза, бранится, имеет любовника?”

“Нет, – отвечала старуха. – Но не любит его, и очень страдает

он”.

“А она?” – спрашивал старик, и Шогуль изумлялась, а он качал головой и говорил, что в нелюбви, равно как в любви, очень немного радости.

Но обещание выполнил. Вскоре они распаковывали вещи в Хавте, где, думала Шогуль, будет легче бороться...

“Легче?! – в этом месте с гневным изумлением переспрашивала она саму себя. – Это Теше “легко” мучить свою мать, “легче” Рахимджану бить баклуши с утра до вечера, “легче” любому на земле мужчине, и это исстари мужское слово, но матерям, но женщинам никогда в этом мире не становилось “легко” и даже “легче” еще не было”, – кричала старуха.

И этим завершала свой рассказ. Окончательно отбрасывала рукоделье и с ладонями на губах убегала домой. Вдовый старик Рахимджан, давно к ней равнодушный, подбирал все и устремлялся вослед.

Остальные продолжали сидеть. Многие из того, что рассказывала старуха, в селе знали собственными глазами. Семь лет здесь видят редко трезвого Тешу – что предполагается, так как он не шатается, не горланит песен и вообще не подает голоса, если не по духовной надобности (и поэтому в тот день, на веселой вечеринке у Шухрата-плотника, людям было жутко наблюдать за отчаянно, язычески танцующим Тешой). Хотя и стал путаться в последнее время в молитвах. Видят его мрачную дылду-жену, с багровыми от бесконечных злых слез потеками на скулах. Порой она выходит купить шерсти. По дороге же осматривает хавтцев будто через силу, словно за большие деньги.

Глядя на этих двоих, даже окончательные тугодумы все разгадывают, а людям поумнее и гадать не надо. Достаточно было эти семь лет наблюдать за несчастной старухой, идущей на все уловки, доступные матерям, и даже воздвигшей как-то из земли покойного мужа-милиционера.

“Удобно ему, сделавшись мертвым, палец о палец не ударять, пока жена не знает сна и здоровья”, – говорила она ранее в сердцах, и в один вечер окутанный саваном до бровей ее муж возник во дворе и, запинаясь в индюках, угрожал Теше отцовским проклятием. Словами жены, шепелявым голосом Рустама покойник призывал сына развестись до весны. Напоминал, что отцовское проклятие, в отличие от материнского, не смывается и за гробом, но Теша на мертвого отца отозвался так же, как на живую мать, – никак, будучи глуп, вероятно, пьян и в эти самые минуты прочитывая письмо из областного управления муфтията. В нем ему советовали “отпустить супругу или же покинуть село в неизвестном направлении, в сопредельные киргизские горы, и с плачем осмыслить свою кощунственную жизнь”. И Шогуль в тот же день получила письмо от старика Абдусалома, который предупреждал, что из села идут на ее сына доносы от некоего “скорбящего скорбца”. Что на днях он, к примеру, будто бы обуйанный вином, перепутал заклинания и насылал на бесплодную афганку неслыханную мужскую силу, а когда она гневно поправила его, читал молитву об облегчении родовых схваток и так далее, и так далее. Столичная молодежь возмутилась и собирается ехать в село, но пока останавливается стариками, писал он. Старуха тоже возмущалась, когда рассказывала людям об этих письмах, ибо не желала ехать в горы, ни в киргизские, ни в брильянтово-золотые. Сельчане же, писавшие эти доносы всем миром по ее наущению, отдувались.

И отказались помогать ей. Они пугались молодежи, да и не верили уже в успех. Старуха бранила их, уверяла небом, что добьется своего...

“И добилась”, – в тот день думали сельчане, наблюдая за неистовой, языческой пляской ее сына.

Да, добилась. Но какими усилиями! Долгие годы, к примеру, начинала утро (едва завидев невестку) с просьбы: “Вон, вон!” Так и общались. За столом, когда Рано спрашивала свекровь, какой травой посыпать ее плов, та отвечала: “Вон”, но невестка за годы научилась определять это слово и безошибочно сыпала

базилик, подавала ей ту, а не эту ложку, чай такой-то или покрепче. А после ужина, обернув живот одеялом козьего пуха, старуха обращала взор к потолку, где находился трепетно внимающий матери Теша (ибо тот, напротив, не обращал на нее никакого внимания), и принималась: яд, дылда, позор, умру на днях... и прочее. Принимала от невестки чай с бараньим салом и продолжала. Порой ей чудилось: он слышит ее. Будто приходит к чему-то, замирая, подолгу задерживая страницу. В эти мгновения старуха пододвигала ногой охапку шерсти и валилась туда в обморок, но, хотя чаще оказывалось, что он просто почесывал затекшую голень, однажды согласился ехать к какой-то чудотворной гробнице – просить об избавлении от порока винопития.

Шогуль проводила Тешу до автобуса и, как ветер, помчалась обратно, чтобы умолить невестку покинуть ее сына. Она готовилась целовать ей руки, говорить на коленях полыхающие слова, единственно верные из всех человеческих слов, после которых она в две минуты уложит вещи и бросится к душанбинской трассе. Но когда влетела во двор, увидела Тешу, отряхивающего сапоги, ибо выпрыгнул он из автобуса, когда, совершая полукруг по селу, тот проезжал в пяти шагах от их ворот.

“Ну и что? Ну и что? – в тот же вечер обессиленно вопрошала старуха хавтцев. – Разве не все испробовала несчастная мать, разве яду ей осталось ловко подсыпать?” И горько смеялась этой шутке, так как ягнобке отравить другую – столь же возможно, как рыбе утопить рыбу. Но – шутка то была, не шутка, – а неуютно стало хавтцам. Тем более что затем ее видели в доме Салима-лепешечника по прозвищу Чакраборти, хулиганистого пьяницы и бабника, соблаздившего не одну местную девицу и отчего-то еще живого.

И неизвестно какой гадостью завершился бы ее союз с Салимом (ибо сельчане, прозвав его за яркую красоту именем индийского актера, польстили этим не лепешечнику, а скорее подлинному Митхуну Чакраборти), но для старухи наступил этот день. Нежданый, как всякое счастье.

Как обычно, утром она, содрогаясь со сна, попросила невестку: “Вон, вон”, и та ушла за особой кислой сметаной. Как обычно, сели за завтрак. И вот тут Теша покашлял в запястье...

“И вот это, это сказал...” – описывала в каждом встречном доме старуха. Она гремела пиалой о зубы, рассказывала все, заключала, что она, мол, “перерезала- таки эту пуповину”, и в полном безумии хохотала, ни с того ни с сего вспоминая, как сорок лет назад рвала пуповину сыну, когда неожиданно родила его в огороде. Как в отчаянии грызла ее, но не могла перегрызть и тогда, дотянувшись до теши (2), которая валялась у грядки, рассекла ее. Перевязала остаток собственными волосами, не вставая, сорвала ближний подсолнух, выдавила из семечек немного масла, которым смазала рану, и дождалась людей. Старики велели назвать мальчика Тешой. Говорили, мол, неотгрызаемая пуповина означала, что младенец опасался чего-то в этом мире, не желал выходить в него. Муж ее в ответ смеялся, и Шогуль смеялась и никому в Ягнобе не рассказала, что в огороде исходящий из нее младенец, показав вначале, как положено, голову, огляделся и попытался скрыться обратно, но испуганная Шогуль не позволила ему это... Позже повитуха говорила, что, оказывается, и Рано не желала выходить наружу, и она изо всех сил цеплялась за материнское чрево, упиралась коленями. Мать ее пришлось подвесить к потолочной балке, вниз головой...

“Оба, то есть не хотели встречаться на земле, а все-таки встретились, ибо судьба, но разойдутся, ибо – я”, – смеялась старуха в тот день. Так сновала по домам, пока в село на своем грузовике не влетел перепуганный Юсуф. Еще утром старуха вызвала его по телефону. Мальчик к тому времени повзрослел до юноши, женился, работал водителем. В Хавте любили его. Пламенно-рыжий, как отец, был он без его бороды и прочих пороков в виде вот такой вот жены, винопития и замкнутого характера. Его жена – открытая хохотунья Фируза, дочь зеленщика. Он часто приезжает из Ягноба с подарками для всей родни. Старуху оскорбляло, что в это число неизменно входит

она, получая от пасынка неумную мужскую всячину. И не то удивительно, что кроткий Юсуф, забыв обиду или вовсе не испытав ее, привечает мачеху – мужчины в его роду отличаются кроме детского роста, детским же умом, – а то, что он единственный человек, которого привечает она. Всегда встречает его в воротах, позади всех, правда. Сразу берется за варку. Когда все садятся за плов, уходит к себе, прихватив для починки его по шоферскому небрежению непременно изодранную куртку.

“И с улыбкой, все – с улыбкой”, – возмущалась старуха, сложно описывая ту улыбку как “лисью, но змеиную”. И Юсуф не уставал улыбаться мачехе. А уезжал печальный. Как и Теша, он будто чего-то ждал от нее. Но, конечно, мог дожждаться лишь новой беды и, вероятно, знал это, ибо, когда старуха сообщила по телефону – мол, так и так, лен удался, а отец разво... – он сказал “да” и кинулся вон. Через два часа был в Хавте. Как еще издали заметила поспешающая домой Шогуль, переминался у ворот, опасаясь войти внутрь. Старуха ускорила шаг. За ней, садами и огородами, пробирались хавтцы. Навстречу же двигалась другая половина села. Она сопровождала возвращающегося с вечеринки Тешу, который шел будто по пояс в воде. Все хотели посмотреть, как он скажет “талак, талак, талак” (3). И скоро люди, соединенные в круг, наблюдали, как сын поздоровался с отцом, как обнял его, и они долго так стояли, слившись рыжими своими ягнобскими головами. Шогуль в это время во дворе помогала невестке вязать узлы и перехватывать сундуки веревками.

“Отпускаешь?” – спрашивал отца Юсуф. Теша кивал, всхлипывая, а хавтцы отзывались громовым шепотом: “Страшно, страшно...” “Прекратите, – гневно обрывал их юноша. – Страшно не это, а то, что два хороших человека всю жизнь мучаются друг от друга”.

“С ней тяжело, – говорил далее отцу Юсуф (и вновь кивал тот), – а только без нее невозможно, и, отец, я думаю...”

Теша отстранялся и вопросительно глядел на сына.

“Нет”, – произнес наконец мулла, качая головой.

“Нет! Нет!” – потрясая кулаками, вопила старуха, которая подслушивала из-за дувала (Рано ушла в дом за веревками). “Нет”, – шептало немало хавтцев, и “нет” – шепчу сейчас я, сочинитель этой истории. “Нет”, – отрицали разлитые в воздухе ангелы Его своими неслышными голосами и голосом Тешы, что, сжимая кулаки, повторял: “Нет, нет, нет”, затем кинулся в дом, и оттуда раздались ее слова: “Обещал! Обещал!” Скоро появилась она на пороге.

“Обещал же... О, Аллах! – рыдая, говорила она. И бросилась вон за ворота с криками: – Обещал же отпустить на два дня... Мама ждет, семь лет не навещала, подарков же нашла...”

“Нет! Нет!” – яростно отзывался Теша, бросаясь за ней вдогонку.

Скрылись... У дома все помолчали. Конечно. Затем старуха громко сплюнула и пошла в дом. Юсуф захохотал, а хавтцы разделились: кто-то, подобно Шогуль, сплевывал влево-вправо, другие смеялись. Но недолго. Постояли еще и – ночь почти была – разошлись в свои жизни.

(1) Уламо – богослов, законовед.

(2) Теша – тятка, разновидность кетменя.

(3) Талак – развод (араб.). У мусульман процедура расторжения брака состоит в том, что мужу достаточно в людном месте три раза произнести слово “талак” – и развод будет считаться свершившимся фактом.

Алексей ТОРК. НекауаӀар